

Василий делает лодку, пятиопружку. Работа привычная, приятная. Руки сами знают, что делать. Сколько лодок за всю жизнь изготовлено — и себе, для рыбалки, и людям — не сосчитать! Плоскодонки мастерил из широкой доски. Долбленки из цельного ствола — душегубки, на воде быстрые, но верткие, опасные без привычки. Чуть резко, неосторожно повернулся, дернулся — и оверкиль! В воде рыбак.

Баркасы строил, большие, на четыре тяжелых весла, на четырех гребцов, — траву, сено возить из-за реки. Так, бывало, нагрузят — вода в двух пальцах от края борта! Ничего, плывут.

С кормой делал, без кормы — разные...

Давненько не занимался этим ремеслом. А тут, как всегда в середине лета, накати-ли деньки эти... Окаянные. Яркие, знойные, радостные, наполненные хлопотами, сча-стьем — когда-то. Пустые, совсем ненужные — теперь. Да вечера и ночи эти, белые, бесконечные, принялись доканывать. Благодные, желанные — в те годы зрелые. Такие муторные, щемящие — сейчас...

Бродит старик сутками — ни сна, ни дела! Мается.

Сунулся с тоски в «мастерскую» — сарайку за баней, а он, голубчик, тут его и ждет! Давно забытый. Материал — доска, бруски, елка. Вот что нужно! Выволок на свет божий, и пошло дело!

Киль уже готов, из цельной нетолстой елки, к нему в пазы — опруги, шпангоуты по-мудреному. Гнутый, закругленный корень елки будет носом. Сейчас набирает борта, снизу вверх, внахлест, из тонкой сосновой доски. Не спешит, некуда спешить, давно на пенсии. Хорошо делает Василий лодки.

Шуршит из-под рубанка тонкая стружка, жесткая ладонь привычно оглаживает доску. Ровно текут мысли. Думается про прожитом. Вспоминаются жены, дети...

Первая жена у Василия была Александра. Погибла она, утонула. Река забрала. Ле-том, на сенокосе было. Косили за рекой, на заливных лугах. Погода стояла как на заказ: знойная, с ветерком. Сено сушило быстро: поворошил денек — и метать можно.

Работалось споро. На покосы выходили всем колхозом: вместе и косить веселее, и зароды легче метать. Обедали тоже вместе, на костре варили кашу или суп. Котел огромный! Усаживались вокруг него на свежескошенной траве взрослые, ребята. Хо-рошо!..

Замер рубанок на половине доски... Вечереет. Прошло стадо. Розовая пыль висит над улицей, там, в конце ее, под высоким крутым берегом — река...

...Очень рано, с зарей, проснулась Александра, как что-то толкнуло ее. Глаза от-

крыла — будто и не спала! Стараясь не разбудить домашних, тихонько проскользнула на крыльцо, подняла к ласковому солнышку лицо и... замерла. Все в мире изменилось вдруг: цвета, звуки, запахи — все стало ярче и милее. Необъяснимая радость теснила грудь. Неожиданные, непонятные слезы на лице, но ни грусти, ни печали. Чудно...

Как-то особенно долго собиралась сегодня невестка на покос, тщательно выбирая, что надеть. И надо же — оделась во все новое, чистое, чем вызвала явное недовольство свекрови. Ишь набасилась! Промолчала старая. Но когда Александра неожиданно села за столом не на свое место у печи, а в передний угол, испугалась даже свекруха:

— Ос-с-споди — как гостья! — вырвалось у старухи.

— Да что вы, мамаша, смотрите — день-то какой сегодня! — еще неожиданное в ответ Александра.

Обедали на пожне весело, шутили, хохотали. Больше всех смеялась и радовалась Александра. Но, расстелив чистое полотенце с едой, ни к чему не притрагивалась. Сидела, положив руки на колени, и все звала подруг:

— Айда, бабы, купаться!

Наконец, не выдержав, вскочила — и бегом к реке! Девки, бабы — за ней. Шумно было. Искупались — одеваться. Похватили свои рубашки, сарафаны — одна рубашка лежит... Разбираться — чья, кто?!

Видят — Александры! Кто-то вспомнил, что нырнула она...

Пока мужики прибежали (купались отдельно от мужиков), время ушло. Василий, резкий такой был, с ходу — нырять... Нашел, вытащил. Давай откачивать... Даже говорили, что какие-то признаки сразу были...

Но вот уже вечер. Не воя и не причитая, горько плачет свекровь. Молчит, безучастная ко всему, пятилетняя Зойка. Трет глаза и все оглядывается растерянно по сторонам — не верит происходящему — старший Алеша. Голодным плачем захлебывается в зыбке золотушный Пашка. Глядя на детей, плачет Василий. И теперь уже на своем законном месте — в переднем углу, на столе под образами, лежит Александра. Тихая. Спокойная. Нарядная...

Доска валяется на песке, сидит работник, курит... Десятки лет одно и то же видит: как в сумрачном водовороте омута серебряно сверкают рыбки и плывет, летит по кругу с ними обнаженная Александра. Тоже вся сверкающая, в зеленоватых солнечных лучах... Но не доплыть ему, не дотянуться...

Крепкий табак нынче попался — глаза ест.

Через две недели после похорон Василий привел в дом Наталью. А куда деваться? Хозяйство, трое ребят, старшему девять, младшему два, мать-старуха еле ходит. Сенокос в разгаре, пахоту не закончили, там, гляди, и рожь поспевать начнет. Самого сутками дома нет — много работ в колхозе в эту пору! Председательствовал тогда Василий.

Ох уж эти колхозы! Кисет упал в песок, снова крутит самокрутку — не замечает. Судорожно затягивается, пальцы подрагивают.

Жизни не видел, детей не видел! День и ночь работал, а свои же, колхозные, — предавали...

Вредительство даже «шили», было. «Сорвал посевную!..» Всего-то на полторы недели позже сев начали. Сообщили...

Тут же проверяющий из области:

— Война идет! Страна недополучит хлеба!

Следователь — то же:

— Вредительство. По законам военного времени!

В поле выйти проверить (земля-то мерзлая: север!) — нет их! Зато бумага в органы готова. Если бы не первый секретарь — ехать тогда Василию не колхоз отстаю-

ций поднимать, а «более крайний Север» осваивать, да за казенный счет. В запечатанной теплушке...

Отстоял первый. А вот на войну не отпустил. «Здесь твой фронт,— колхозы!»

Сколько раз впрягался Василий! Честный был председатель — голодал, но колхозного не брал, горсти зерна колхозного домой не принес!

Петрович, счетовод тогда, в сорок третьем:

— Давай, Василий Иванович, спишем какú похуже телушку на падеж. Ну ли хоть овцу! Голодают твои-то. Вон в «Первомайском» помогают своим, «процент» — положено на падеж.

— Только попробуй! Под суд отдам! Процент! Не посмотрю, что свояк!

И отдавал под суд, бил по рукам, чужих, своих. Жесткий был председатель Василий, гордый. А отчетно-перевыборное — почти все колхозники и половина правления против! Петрович какой-нибудь очередной избран председателем. Прокатывают Василия.

В сердцах плюнет и — в соседний леспромхоз, на валку леса, там хоть деньги. Опять жена одна дома бьется, дети одни.

Только успокоится, полгода какие-то,— предрайисполкома:

— Выручай, Василий Иванович! Тебя снова в «Труженике» выдвигать будем. Двоих после тебя сменили, а все одно — на трудодень больше четырехсот грамм не выходит, против твоих двух кило. Председатели, ети их! Только домой мешками таскать!

Снова мечется Василий по пожням, по полям с утра до ночи. Снова председатель. Избрали. Глаза у людей открываются, когда есть-то хочется.

...Табачок потихоньку успокаивает. Звенит в руках лучковая пила, мысли постепенно возвращаются к ней, к лодке.

«Неизвестно, чья еще будет...» — бормочет про себя Василий, хотя в глубине души уже определился. Знает, вернее, придумал, кто на ней поплывет. Семья это будет: ОН, ОНА и дети, трое.

«Сами они еще молодые. ОН — крепкий такой, лет ему под тридцать, самое то, за веслами, вот на этой скамье. Широко расставленными ногами в броднях упирается в среднюю опругу... Весла сделаю легкие, из сосны опять же, голубые, а лопасти красным покрашу. Такие, когда из воды, мокрые, на солнце далеко видать!»

Рукоятки у весел уже гладкие, отполированы крепкими мозолистыми ладонями. Уключины из цельной березки, прочные, не скрипят, долго не износятся; да в рундуке запасных пара. Гребется мощно, аккуратно, без брызг, только ровные полоски на воде от капелек с весел.

Лодка словно чувствует силу гребца: идет быстро, ровно, послушно, как будто знает, что ценный груз везет.

ОНА на руле, напротив него. Совсем молоденькая. Правит, весло под мышкой держит. На голове платочек беленький, на ногах резиновые сапожки, черные, блестящие, аккурат по полной икре. Смотрит на него, улыбается. ОН, притворно грубовато:

— На реку смотри, на топляк наткнемся!

Сам доволен. Радуется». И от этих мыслей наконец тоже чуть улыбается Василий, впервые за целый день...

Наталья была второй дочерью у соседа, писаря. И было ей всего девятнадцать, но на удивление спокойно пошла она за Василия. Как потом оказалось — не от хорошей жизни в родительском доме. Нелюбимой дочерью была у отца.

Замуж вышла «на троих детей». Старшим был Алеша. Толковый парень, умный и с хитринкой. В школу ходил за пятнадцать километров. Неохота, бывало, идти:

— Давай, тятя, лучше понянчусь с маленькими.

Отправит строгий отец:

— Ступай, Алеша, учиться надо!

Уйдет, а уже на следующий день явится обратно.

Уроки не учил. В первом классе заставят букварь читать — он книжку откроет и давай декламировать:

— Ма-ма! Па-ма!

Бойко тараторит, но каждый раз по-разному одно и то же место. На картинку смотрит и сочиняет себе, да складно так! Хохочет папаша:

— У нас Алеша букв еще не знает, а читает уже хорошо! Молодец!..

Умер Алеша рано — тринадцати лет, от простуды. Поздней осенью, в распуту, возвращался с учебы. Школа была в селе, за рекой. Снег уже лежал. Холодно, сыро; то примораживало, то оттепель с дождем. День проглядывал хмурый, короткий — с девяти до двух, а в третьем часу небо уже серело, сумерки подкатывали.

Как красиво, весело на реке летом, как ласкова река в солнечный день! Бескрайние золотистые пески и плесы тают в синей дымке, по берегам ярко пестреют выкошенные луга. Ходят катера, снуют лодки. Над всем этим высокое голубое небо. Щечечут птицы, орут чайки, теплый ветерок рябит волну...

И как даже не тоскливо — пугающе мрачно смотрит большая северная река поздней осенью. Неоглядное, шире километра, темно-свинцовое пространство ледяной воды, полностью забитое рыхлым мелким льдом, плотным мокрым снегом — шугой. Все это мощно, непрестанно движется, трещит, бурлит, встает на дыбы. Над водой низкое серое небо, черные тучи, из них то дождь, то снег. И постоянный пронизывающий холодный ветер. Кругом ни души — нечего делать на реке в это время, нечем любоваться.

Река уже стояла, вернее, вставала. Не сразу она встает, кряхтит грозно, недовольно, натягивая на себя ледяное одеяло, укладываясь на долгую зиму. Несколько дней требуется могучей, чтобы заснуть до весны под белым панцирем. Сало — шугу, небольшие льдины — сбивало, где поуже и на поворотах, в плотную массу, в торосы. Там уже переходили кто посмелее. Алеша тоже не из робкого десятка и переходил, бывало; правда, не один, с товарищами.

Затосковал в интернате. Долго зимника ждать! Рванул один после уроков, полтора часа — у реки Алеша!

А тут главное — знать где. Да еще досочку обязательно прихватить, не забыть! Метра полтора. Без нее — совсем страшно... «Вот здесь надо, у кустов. В этом месте и лед набило плотно — затор, и следы на снегу. Топтались, видно, долго. Пацаны, наверно, старшие...» Тоже долго стоит, топчется, решается.

«Ох и широко же здесь — тот берег едва виден... Морозит сегодня. Может, обратно?»

Смеркаться начало... Решился. Домой шибко хочется — две недели не был. Пошел Алеша. Ну, с Богом!

Хорошо идет, ловко, быстро. Нельзя задерживаться! Кидает досочку — мостик, с льдинки на льдинку, с кучки на кучку. Три шага по ней — встал на твердое, нагнулся, подтянул досочку — кинул дальше, снова три шага по мостику. По сторонам не смотрит — нечего там смотреть! Только — вперед, на три шага...

А по сторонам-а-ам! Все шуршит, журчит, скрипит, переливается. Льдины в затор сбило плотно друг к дружке, стоя,— держат хорошо. В сумерках они ярко-белые, а лужицы, промоины, полыньи, «озера» — черные, страшные! Неизвестно, мелко там — льдина — или бездна... Еще страшнее, когда громкий треск, скрип,— вдруг подвижка!

Стремительно темнеет. Но вот уже и тот берег хорошо виден, метров сорокпятьдесят еще... Внезапно сзади, где-то на середине реки, страшно бухнуло, затрещало. Досочка сдвинулась вправо. Вздрыгнул Алеша, шагнул за ней вправо и сразу провалился правой ногой! Зачерпнул полный валенок ледяной воды, но неглубоко, по колено! Дернул ногу — не дает! Зажало льдом. Запаниковал, забился в ловушке. Схватившись руками за льдину, рванул Алеша изо всех сил и выдрал наконец босую

ногу из папкиного валенка! Пошатнулся, шагнул влево и тут же ухнул с головой в смертельный холод. Дна уже не почувствовал...

Секунды пролетели, минуты?.. Пока осознал Алеша, что висит на руках, держась за лед, по горло в воде. Сжало всего страшным ледяным прессом, не двинуться!

— Ма... ма... ма...

Не вдохнуть, не выдохнуть от холода...

— М-м-ма-ма-а-а!!!

Снова треск — снова подвижка. Чуть свободнее стало ногам. Обламывая ногти, раздирая в кровь руки, колени, босую ногу, вывернул из полыньи на лед страшно тяжелое, непослушное тело. Тут же пополз, поминутно снова то рукой, то ногой проваливаясь в холод, уже не чувствуя его и почти без страха; на карачках, на ощупь, наугад! Почему-то, как бабка, причитая тоненьким голоском:

— Осподи-и! Осподи-и! Осподи-и-и!

Туда, к чернеющему спасительному берегу, к дому...

Когда выбрался на дорогу, стемнело уже. Нельзя стоять! Знает Алеша — бежать надо, идти хотя бы! Семь километров. Не идут ноги... Коробом стало пальто, брюки, проволокой волосы на голове: утонула шапка, рукавицы, валенок. Не работают мышцы, сковало — будто резиновые.

Смекнул — с трудом «перебулся»: портянку из уцелевшего валенка как мог отжал, намотал чуней на босую ногу. Крупная дрожь начала сотрясать худенькое тело, до боли свело челюсти, пугающе-громко застучали зубы. Но пошел, не чувствуя уже ни рук, ни ног...

Как-то до дому добрел.

Забегали все сразу, завыли бабы. Забросили парня на горячую печь, растерли, заваляли одеялами, полусубками. Поили горячим молоком, чаем, сушеной малиной, травами. Снова растирали. Всю ночь топили баню, парили. Молились...

Но не встал Алеша. К утру закашлял, поднялся сильный жар, началась одышка, бред. Просил все, задыхаясь:

— Лед уберите! Ле-ед! Грудь льдина давит. Ле-ед уберите!..

Привозили фельдшера, на родах был в соседней деревне. Осмотрел. Диагноз поставил — пневмония крупозная.

— Стрептоциду бы надо...

Да далеко, в райцентре, — сто километров с лишним. Велел водкой растирать...

Прометался Алеша в страшном жару четверо суток и умер, от пневмонии. В народе простудой называли. Не лечили тогда от простуды...

Над рекой проплыли огоньки: зеленый, желтый. «Двинослав» прошел — катер, мачта только видна из-под берега. Подпрыгивают, расплескиваются огоньки. Близко стариковская слеза...

Снова шуршит стружка. «Проконопачу крученной паклей, просмолю пеком-варом. Скамейки шкуркой отшлифую, покрашу желтым... Дорого не запрошу... Так отдам. На дно лодки трапик из реечек, чтобы ноги у ребят — сухие. Рядом с хозяйкой дочь, маленькая. Умница. Мальчишки — те на носу, „капитаны“!..»

Младший Павел деловой был. Все швейные иголки, бывало, на реку снесет. Туго с едой по весне — одна картошка. Как только ледоход пройдет, Паша уже на рыбалке. Целыми днями на реке. Вечером шагает гордый — полный котелок плотвы в руках несет. Ни крючков, ни лески нет, а без рыбы ни за что не вернется! Вместо лески — волос длинный, прочный, из конского хвоста.

— Кормилец наш! — сквозь слезы смеется Наталья.

Последнюю швейную иголку бесполезно прятать — найдет Пашка! Раскалит на костре, загнет — переделает в крючок! Снова Наталья без единой иглы в хозяйстве. Райпотребсоюз-то — пятнадцать километров по тайге, когда еще сбегает! Стерпит

мачеха, не ругает. Ладно — уха вечером на столе. Добытчик! Дружно жили, как брат с сестрой.

Вырос деловой Павел. Девятнадцати лет, в сорок третьем, забрали на войну. Воевал до Победы, был в разведке. Вернулся живым. Гордость отцу — на груди принес «За отвагу», Красную Звезду и орден Славы. Да две нашивки за ранения. Как, где — не рассказывал, не любил. И еще одна беда, без нашивки, позже обнаружилась. Испортила его война — сильно выпивать начал...

Не взяла Пашу пуля. Погиб дома. Нелепо погиб — утонул. На машине везли из райцентра товары в поселковый магазин. Выпили, по пути добавили. Мужики — в кузов, на ящики с макаронами, курить. Павел — за руль. Хорошо поехал, но там, где дорога вдоль реки, вдруг съехал в воду. Мужики с хохотом поспрыгивали, неглубоко вроде! Паша выбраться из кабины не смог...

Дочь чаще вспоминается уже большой, взрослой, двадцати девяти лет... А родилась слабенькой — думали, не выживет. Мать все плакала, Бога молила. Отставала Зоя с самого рождения. В пять лет не говорила еще, бродила за бабушкой, держась за подол, и все пальчик в рот. Так и росла, бедная, рядом, как подорожник какой; тихая, незаметная, безмолвная. В школу не ходила вовсе. «Засматривалась» она.

— Родимчик ее забирает! Святой водой бы надо! Заговором! — советовали бабки.

Делает что-нибудь Зоя по дому или на улице и вдруг застынет. Смотрит, смотрит перед собой через предметы, как будто видит что. Потом падает — и судороги. Язык искусает, обмочится... Припадки у нее были. Не помогали заговоры... Дома сидела, нянчилась с маленькими.

Молоденькая мачеха, натерпевшись обид от жестокого отца, жалела ее. И Зоя привязалась к ней, полюбила.

Летом Зоя постоянно на огороде. Когда повзрослела — много работала. Но в лес, на сплав, у механизмов — где заработки — ее не брали.

«Высокая была, баская, а гулять не ходила. Хорошая была. Работала, работала... О чем думала? Тосковала?.. Хотела, наверно, и гулять, и дружить. Любить, нянчить своих детей. Был, может, и тот, единственный, при случайных встречах с которым тревожно и радостно билось девичье сердце... Никто уже не узнает. Тогда все некогда было спросить — сейчас уже не спросишь...»

Сутками метался Василий по реке, на катерах, на своей трехопружке, по затонам, отмелям, кустам — безрезультатно. Искал, кричал, звал Зою. Хотя сразу понятно было — бесполезно звать. В память врезалось: лето, жара, ярко светит солнце, ослепляюще блестит река, а глянешь на небо — черное небо!

Реку даже просил, чтобы отдала дочь...

Отдала...

Дома сидит Василий. Сам почернел. Без сил уже — ни сна, ни еды. Видит вдруг — один прошел, другой. Вышел на улицу: люди все идут, идут куда-то, быстро идут, молча... Побежал отец, понял все сразу. На реку...

А взяли Зою на катер, когда Василий был на сплотке, в соседнем леспромпхозе. И взяли-то сходить вверх по реке, на нефтебазу за горючим — мазут, солярка, масла там всякие. Тут всего: день — туда, день — обратно. Помощником взяли. Некого больше было, лето — все на сенокосах, на сплаве, не хватало рабочих, да и сама просилась.

Ходили с баржей, на короткой сцепке. На барже две-три большие бочки — вот туда и заливали. Ну а помощник — он на катере, в трюме, или на барже, вроде бы и под присмотром.

На базу пришли, загрузились, обратно вышли — все нормально. Рулевой вперед смотрит, моторист — у мотора. А когда пропала помощница — и не заметили. Все вроде в трюме была...

С вечера готовилась Зоя на работу: тщательно прибрала в доме, вымыла полы, выбрала, что надеть с утра — все новое, самое любимое. Утром вскочила, быстро оделась и бегом на реку.

— Господи, день-то какой сегодня!

...Монотонно стучит дизель на «Шиговарах», шустро бежит катерок вниз по реке. Вечер. Полный штиль. Закат. Не слышно птиц и не мешает шум мотора. Тишина.

Зоя на корме. Плывет с ней вместе золотисто-розовое небо. И плавно, вправо-влево, разваливаются волны. Две первые — большие, ровные и гладкие. В них небо изгибается, переливается причудливо, дрожит. За ними мелкие — все с гребешками, пузырями, пузырьками. Разбивается и рассыпается в них золото на миллионы разноцветных огоньков и бликов. Темно-зеленые огромные шары, валы все выплывают у кормы. Манящие, тяжелые, густые.

И хочется смотреть, смотреть, и невозможно взгляда оторвать... Так и плыть бы всю жизнь по розовой реке, не помня ни горя, ни печали, забыв насмешки, взгляды и обиды. Как хорошо, легко сегодня на душе! И радостно, и больно, слезы на глазах! И все зовет, зовет ее куда-то голос, такой знакомый, ласковый, родной. Засмотрелась Зоя...

Искали ее долго, больше недели... Нашли Зою плотгоны — с плота увидели. На плоту и повезли. Навстречу из поселка вышел катер, с плотом-то не причалишь. На катере довели, на «Шиговарах».

Туда, на берег, и бежит Василий.

Пришвартовался катер. Отпрянула толпа от резкого, останавливающего дыхание, осязаемо липкого, сладкого запаха. От ужасающего, отталкивающего цвета. От неправдоподобно огромных размеров: жара, вода парная сделали свое дело — полопалась одежда, кожа... Тихо было. Лишь он один, прижавшись щетинистой щекой к безобразно-белому черепу, к тому, что было недавно застенчивой улыбкой его ребенка, просил негромко что-то, нараспев; гладил, прибирал все распадающееся. Баюкал? Запоздало. На коленях, на раскаленной палубе. Да она постукивала тихонько, поплескивала теплым приборчиком в борт катера. Величавая, спокойная. Река.

Похоронили Зою в селе. В поселке не хоронят: заливают река поселок каждую весну, в половодье. Топит. Могилка ее недалеко от церкви. Там и лежит его Зоя. Бедная Зоя. Хорошая Зоя...

...Темнеет. Прохладная пыль под босыми ногами. На зеленоватом небе загораются звезды. Летят гудки со стороны реки, и все плывут, дрожат там изумрудные, янтарные огни... Давно уже нет и Натальи... Снова курит Василий Иванович, глаза влажные. Поплакал — чего скрывать. Полегче стало на душе, и пусто как-то...

Вот поплывут на его лодке те — молодые, дружные. «Просто так» поплывут — у костра посидеть, отдохнуть, как сейчас говорят. А вечером на берегу, на лавочке, их старики. Она:

— Глянь, не наши ли гребутся?

Он (ласково, давно уже увидел и радостно узнал по этим веслам — два красных солнышка все загорятся в гребках!):

— На-а-аши, мать, наши!

Мечтает Василий.

Но давно уже никто не заказывает ему лодки. Сейчас все больше на дюралевых, из магазина. Прочнее и с мотором — сила, скорость.

Отлично делает Василий лодки. Славные получаются, красивые, легкие. Мастер Василий. И рыбу хорошо ловит. Но давно не был он на рыбалке. Давно уже не любит Василий рыбалку. Не любит реку.

Совсем темно над лодкой. Рубанок вжикает, поет пила, белеет стружка на песке. Работает Василий. Улыбается.